



Объявите меня каким угодно инструментом, вы можете расстроить меня, но играть на мне нельзя.

*Уильям Шекспир. Гамлет\**

## Глава первая

Феденька сидел на полу, скрестив ноги и вывернув ступни вверх. Обритая голова его была запрокинута, голубые прозрачные глаза не мигая глядели в потолок. Он слегка раскочивался, и казалось, что-то гудит и вибрирует у него внутри.

— Омм... омм... — Губы почти не двигались, звук исходил из глубины живота.

Год назад это бесконечное «омм» звучало тоненько, голос был еще детский, а теперь начал ломаться. Феденька подрос, над верхней губой темнел пушок, на лбу появилось несколько мелких прыщиков. Подростковый басок напоминал звук урчащего моторчика.

— Здравствуй, сынок, — сказал Иван Павлович и попытался улыбнуться.

Ребенок продолжал мычать и покачиваться.

— Феденька, здравствуй, — повторил Иван Павлович погромче и, поймав выжидательный взгляд врача, вытащил бумажник.

— Не напрягайтесь. Он вас все равно не видит и не слышит, — напомнил врач и быстро убрал купюру в карман халата. — Только, пожалуйста, недолго. А то в прошлый раз у меня были неприятности.

---

\* Пер. с англ. Б. Л. Пастернака.

Еще одна купюра нырнула к доктору в карман.

— Можно, я побуду с ним вдвоем?

— Ни в коем случае.

— У меня больше нет с собой денег, простите. В следующий раз я компенсирую...

— Не в этом дело, — поморщился доктор. — Послушайте, а вы не больны? Вы плохо выглядите. Похудели.

Иван Павлович и правда выглядел плохо. Пять минут назад, мельком взглянув на себя в зеркало в больничном вестибюле, он заметил, что тени под глазами стали глубже и черней. Он каждый раз отмечал что-то новое, встречаясь со своим отражением именно в этом зеркале. То ли свет в больничном вестибюле слишком резкий, то ли расположение теней как-то особенно беспощадно подчеркивало страшную худобу.

Лицо его все больше походило на череп. Совершенно лысая голова. Провалы щек, провалы глаз. Лучше отвернуться и не глядеть, проскользнуть мимо предательски ясного стекла.

— Да, я неважно себя чувствую, — кивнул он доктору, — давление, магнитные бури.

— Ну хорошо, я выйду покурю, — сжалился тот.

— Спасибо. Я компенсирую, — прошептал Иван Павлович в белую спину.

Дверь закрылась.

— Ну как ты, сынок? — Он присел на корточки и провел ладонью по теплой бритой голове.

— Омм... омм...

— Врач сказал, ты не ешь ничего. Разве приятно, когда тебя кормят насильно? Надо есть, Феденька. Мясо, фрукты, витамины. Я все принес. Ты ведь растешь. Ты скоро станешь мужчиной и должен быть сильным.

Феденька перестал качаться. Голова его медленно опустилась. Подбородок уперся в грудь. Распахнулся ворот больничной сорочки, обнажив черную татуировку чуть ниже ключичной впадины. Перевернутая пятиконечная звезда, вписанная

в круг. Кожа вокруг пентаграммы постоянно краснела и воспалялась, хотя рисунок был нанесен очень давно, почти пять лет назад.

— Скажи мне что-нибудь, сынок.

Глаза мальчика затянулись матовой пленкой, как у спящей птицы. Урчащий звук затих. Егоров попытался расплести намертво стиснутые в причудливый крендель худые ноги сына и вспомнил, как впервые Феденьке удалось сесть в эту позу — в позу лотоса.

Мальчик старательно выворачивал пятки, краснел и потел. А напротив него, на вытертом коврикe, сидели его мать, старший брат и еще два десятка людей. На всех были какие-то простыни, все выворачивали босые ступни к потолку, раскачивались и повторяли жуткий вибрирующий звук:

— Омм... омм...

Иван Павлович застыл на пороге. Сначала он готов был рассмеяться. Взрослые люди, закутанные в простыни, сидящие кружком и мычащие, как стадо недоеных коров, выглядели по-дурачки. Но стоило приглядеться внимательней, и охота смеяться пропала. Их лица были похожи на гипсовые маски. Глаза намертво застыли. Гул многих голосов, мужских, женских, детских, как густой ядовитый газ, расползался по залу, по обыкновенному физкультурному залу обыкновенной московской школы.

За высокими решетчатыми окнами был черный декабрьский вечер. Школьные занятия давно кончились. Вечерами предприимчивый директор сдавал помещение физкультурного зала группе, которая называлась «Здоровая семья». Гимнастика, йога, опыт рационального питания, путь к духовному и физическому совершенству. Занятия были бесплатными и проводились три раза в неделю, с шести до девяти.

Егорова не сразу заметили. А он едва узнал жену и сыновей в этом мычащем кругу. Первым бросился в глаза Феденька. Детское лицо еще не утратило нормальной человеческой

миимики. Мальчик морщился, пытаясь положить вывернутые ступни на согнутые колени. Короткая челка слиплась от пота.

— Феденька, сынок, — негромко позвал Иван Павлович. Именно в этот момент детские ноги сплелись наконец в правильный крендель.

— Получилось! — радостно произнес ребенок и присоединился к общему хору, стал мерно раскачиваться и повторять «омм» вместе с остальными.

В центре широкого круга сидел пожилой бритоголовый азиат в набедренной повязке. На голой безволосой груди красовалась черная пентаграмма, перевернутая пятиконечная звезда, вписанная в круг. Узкие глаза уперлись в лицо, и Егоров почувствовал, как этот взгляд жжет кожу, но не поверил, потому что так не бывает — чтобы человеческий взгляд на расстоянии десяти метров обжигал, словно крепкая кислота.

— Что за чертовщина? — громко произнес Иван Павлович и решительно шагнул вперед, к мычащему кругу, чтобы вытащить из него жену и детей.

Азиат не сказал ни слова, но, вероятно, подал знак, потому что кто-то оказался позади Егорова, профессиональным приемом стиснул его предплечья, вывернул руки и не давал шевельнуться. Иван Павлович попытался вырваться.

— В чем дело? Отпустите сию же минуту!

Тогда, пять лет назад, Иван Павлович был очень сильным. Он любого мог уложить на обе лопатки. Рост метр девяносто, вес девяносто килограмм, причем ни грамма жира, только мускулы. Но тот, сзади, оказался значительно сильнее.

— Оксана! Славик! Феденька! — Егоров выкрикнул имена своей жены и двух детей, но они не слышали. Никто в этом зале его не слышал. Крик тонул в мычании двух десятков голов. Егоров пытался вырваться, не мог понять, сколько человек у него за спиной. Сначала показалось — двое. Один продолжал держать, другой ребром ладони саданул по шее. Это был очень ловкий, профессиональный удар. Егоров почти потерял со-

знание от боли, рванулся из последних сил и успел заметить, что держит и бьет один человек. Бритоголовая огромная баба в черных джинсах и черном глухом свитере. От нее нестерпимо воняло потом. Он не разглядел лица, увидел только, что в ухе у черной богатырки болтается серьга — крест. Обыкновенный православный крест, но перевернутый вверх ногами.

Она ударила в третий раз. Он весь превратился в комок боли. Не было ни рук, ни ног. Перед глазами заплясали звезды, громко запульсировали барабанные перепонки. Так бывает при резких перепадах давления, когда самолет меняет высоту или проваливается в воздушные ямы. Все это длилось не больше минуты. Потом стало темно.

Он открыл глаза и обнаружил, что сидит на лавочке в школьном дворе и не может пошевелиться. Летчицкая синяя шинель была застегнута на все пуговицы. Форменный белый шарф аккуратно заправлен, на голове фуражка. Он отчетливо помнил, что перед тем, как войти в зал, расстегнул шинель, снял фуражку и держал ее в руке.

Егоров поднял руку, и показалось, что она весит не меньше пуда. Он зачерпнул горсть колючего грязного снега, протер лицо и скрипнул зубами от боли. Кожа на лице саднила, словно ее драли наждаком. Но этого не могло быть. Азиат только смотрел, не прикасался, даже не приблизился ни на шаг, всего лишь бровью повел. Злость и удивление помогли Егорову окончательно прийти в себя. Он сумел встать на ноги.

Здание школы оказалось запертым. В полуподвальных зарешеченных окнах физкультурного зала было темно. Он обошел здание со всех сторон. Мертвая тишина. Ни души вокруг. Он догадался взглянуть на часы. Была полночь.

Жена и дети мирно спали дома в своих кроватях. Он взглянул в зеркало и обнаружил, что кожа на лице красная и воспаленная. Но на шее под ухом не было никакого следа, даже легкого синяка.

— А, Ванечка, ты уже вернулся? — сонным голосом спросила Оксана, когда он сел на кровать и провел рукой по ее волосам.

— Где вы были сегодня вечером?

— На занятиях, в группе. Ты же знаешь...

— Я приходил к вам. Вы не видели и не слышали меня. Вы там все как будто оглохли и ослепли. Вы были как мертвые. Оксана, проснись наконец. Меня избили и вышвырнули оттуда, как котенка.

— Да что ты говоришь, милый мой, любимый, хороший... — Не открывая глаз, она засмеялась совершенно чужим, грудным и глубоким русалочьим смехом, притянула его к себе за шею, зажала ему рот своими мягкими теплыми губами и стала ловко расстегивать пуговицы его рубашки.

Егоров прожил с женой четырнадцать лет, он знал наизусть каждую складочку ее тела. Все ее движения, звук голоса, ритм дыхания были ему знакомы не хуже, чем свои собственные. Но сейчас его целовала в губы, снимала с него одежду совсем другая, незнакомая женщина.

Его Оксана, его тихая, застенчивая жена, которая стеснялась слишком бурного проявления чувств даже в самые отчаянные моменты близости, боялась разбудить детей, переживала, что скрипит кровать, превратилась вдруг в ненасытную, бесстыдную, многоопытную фурию.

Где, когда, с кем успела этому научиться? У нее стали другие руки, другое тело, другие губы. Даже запах изменился. Вместо привычного аромата яблочного шампуня и легкой туалетной воды от ее кожи исходил приторный тяжелый дух то ли розового масла, то ли мускатного ореха. Она бормотала и выкрикивала безумные непристойности. Это была смесь густой матерщины и каких-то непонятных слов, похожих на колдовские заклинания из детских сказок.

— Пробуждаются силы, которые раньше дремали, — спойкойно объяснила она утром, — разве тебе не понравилось?

— Кто тебя научил? — мрачно поинтересовался Егоров.

Она рассмеялась в ответ все тем же чужим, утробным, глуховатым смехом.

— Чтобы такому научиться, годы нужны. Нет, не годы, тысячелетия. Генная память. Особая энергетика, которая раскрывается только у избранных, высших существ. Во мне проснулся лучезарный и свободный дух великой Майи.

— Какая такая Майя? Что ты плетешь, Оксана?

— Майя есть великая шакти, мать творения, содержащая в своем чреве изначальное яйцо, объемлющее всю Вселенную, совокупную духу великого отца. Посредством вибрации танца жизни энергия Майи наполняет иллюзорную материю...

Тоненький Оксанин голосок с неистребимым днепропетровским акцентом старательно выводил эту соловьиную трель. Егоров не выдержал и шарахнул кулаком по столу.

— Хватит!

— Не кричи, Иван. И оставь в покое стол. Ты перебьешь всю посуду. Послезавтра ты пойдешь с нами на занятия. А то у тебя, миленький, силенок-то маловато. Не заметил? — Она подмигнула и опять засмеялась, как пьяная русалка.

— Вы больше туда не пойдете. Ни ты, ни дети.

— Неужели тебе ночью не понравилось? Ладно, давай повторим, чтобы ты понял. — Она распахнула свой нейлоновый стеганый халатик, под которым ничего не было, и пошла на него. Она часто, хрипло дышала, и вблизи ее сумеречная улыбка показалась Егорову мертвым оскалом.

...Прошло пять лет, а он так ясно помнил ту декабрьскую ночь и темное ледяное утро, словно прожил этот короткий временной отрезок не единожды, а сто раз. Именно тогда все и началось. Для него, во всяком случае. Для жены и детей все началось раньше.

Оксаны и Славика уже, вероятно, нет на свете. Федя уцелел, пережил клиническую смерть, успел испытать на себе все

виды психиатрического лечения, от аминазина и электрошока до гипноза. Врачи ничего не обещали, многозначительно хмурились, не могли договориться насчет точного диагноза. Егоров перестал их слушать. Он им больше не верил. Он держал Федю в больнице только потому, что пока не имел возможности обеспечить мальчику надлежащий уход дома.

— Феденька, ты помнишь Синедольск? Мы летали туда, когда ты был совсем маленький. Бабушку помнишь?

Мальчик дернул головой, и Егорову на миг почудилось, что он кивает в ответ.

— Тебе как раз исполнилось три. Мы там отпраздновали твой день рождения, вместе с бабушкой. Она тебе грузовик подарила, такой огромный, что ты мог сам уместиться в кузове.

Федя застыл на миг, и опять Ивану Павловичу показалось, что сын его слышит и понимает.

— Ты потерпи еще немного, сынок, скоро все будет хорошо, — говорил он и пытался расцепить сплетенные кренделем ноги ребенка. — Я увезу тебя отсюда, мы поселимся где-нибудь далеко, где чистый воздух, сосновый лес, речка с прозрачной водой. Ты будешь пить парное молоко, и постепенно тебе станет лучше.

Егоров каждый раз бормотал одни и те же слова про чистый воздух и парное молоко, каждый раз упорно пытался расцепить ноги мальчика, расслабить сведенные судорогой мышцы и боялся сделать ему больно, хотя знал, что боли Феденька не чувствует.

— Не надо, не мучайтесь, — услышал он за спиной голос доктора и вздрогнул. Тот вошел совсем тихо и уже несколько минут молча стоял, наблюдал за его тщетными попытками.

— Только укол поможет, снимет судорогу. Сейчас придет сестра и уколует его. А вам пора. Всего доброго.

Егоров вышел из больницы с легким сердцем. В последние дни ему вообще стало значительно легче. Вопреки скептической ухмылке лечащего врача, вопреки пустым бессмыслен-

ным глазам сына в нем жила теперь упрямая злая надежда. Она была связана вовсе не с домиком у чистой речки, не с парным молоком.

\* \* \*

Звонок был междугородний. Никита Ракитин не спеша вылез из ванны, накинул халат, подошел к аппарату, но трубку взял не сразу. Очень не хотелось.

— Привет, писатель Виктор Годунов. Почему трубку не берешь? — произнес начальственный глуховатый баритон.

— Я был в ванной.

— Ну, тогда с легким паром. Как работа продвигается?

— Нормально.

— Как здоровье? Не болеешь?

— Стараюсь.

— А что смурной такой?

— Почему смурной? Просто сонный.

— Я слышал, ты собрался в Турцию лететь на неделю.

— Собрался. И что?

— Почему не предупредил?

— Разве я должен? И потом, ты ведь все равно сам узнал.

— Ну вообще-то неплохо было бы поставить меня в известность. Просто из вежливости. Но я не обижаюсь. Отдохни, если устал. А дочку почему не берешь?

— У нее еще каникулы не начались.

— Понятно. Ну взял бы тогда эту свою журналисточку. Как ее? Татьяна Владимирова? Кстати, девочка прелесть. Видел недавно по телевизору в какой-то молодежной программе. Беленькая такая, стриженная. У тебя с ней как, серьезно?

— Прости, я что, об этом тоже обязан тебе докладывать? — вяло поинтересовался Никита и скорчил при этом самому себе в зеркале отвратительную рожу.

— Ладно, старичок, не заводись. Это я так, по-дружески спросил, из мужского любопытства. Главное, чтобы твоя личная жизнь не мешала работе.

Никита брезгливо дернул плечом. Он вдруг ясно представил, как его собеседник похлопал бы его сейчас по плечу. Он всегда, обращаясь к кому-либо «старичок», похлопывал по плечу, этак ободряюще, по-свойски. Хорошо, что их разделяет несколько сотен километров.

— Не волнуйся, не мешает, — успокоил собеседника Никита и зевнул так, чтобы это было слышно в трубке.

— Ну и хорошо, — собеседник кашлянул, — на какой ты сейчас странице?

— На двести пятнадцатой. Устраивает?

— Вполне. Я, собственно, только это и хотел узнать. Не терпится целиком все прочитать, от начала до конца. Ладно, старичок, отдыхай на здоровье и со свежими силами за работу. Значит, помощь моя пока не требуется?

— Нет, спасибо. Материала вполне достаточно.

— Отличненько. А рейс когда у тебя?

— Сегодня ночью.

— Так, может, распорядиться, чтобы машину прислали?

— Спасибо. Я как-нибудь сам.

— Да, еще хотел спросить, чего такой дешевый тур купил? Фирма какая-то заваливающая, отель трехзвездочный. Ты все-таки известный писатель, а отдыхать отправляешься, как какой-нибудь жалкий «челнок».

— «Челноки» туда ездят работать, а не отдыхать. А трехзвездочные отели бывают вполне приличными.

— Да? Ну, не знаю. Тебе видней. Как вернешься — звони.

— Непременно позвоню. Будь здоров.

Никита положил трубку, включил чайник, закурил у открытого кухонного окна. Вряд ли за этим звонком последует еще одна проверка. Теперь целую неделю его трогать не будут. Тур куплен, деньги заплачены, даже известно сколько. Тур

действительно самый дешевый. Наверное, отель дрянной, пляж далеко, море грязное. Но какая разница?

У него оставалось два часа. Он налил себе чаю, вставил кассету в маленький диктофон, надел наушники.

— Я всегда хотел быть первым, — зазвучал на пленке тот же глуховатый начальственный баритон. — У меня было такое чувство, что я все могу, все умею, и если у кого-то получалось лучше, я готов был в лепешку разбиться, лишь бы переплюнуть. Я с детства пытался доказать свое право, другим и себе самому, это тяжело, старичок, ты даже представить не можешь, как тяжело.

Полтора месяца назад, когда велась запись, за словом «старичок», как по команде, последовало похлопывание по плечу.

— Право на что? — услышал Никита свой собственный голос.

— На жизнь. На достойную, настоящую жизнь. На власть, если хочешь.

— Власть над кем?

— Над другими. Над всеми. Мне, понимаешь ли, это было как бы дано, но не до конца. Я ведь незаконнорожденный.

— Разве в наше время это важно?

— Смотря для кого. Отец мой был из самой что ни на есть партийной элиты. Белая кость.

— Да, это я слышал. Ты рассказывал много раз.

— Нет, старичок, погоди. Я много раз другое рассказывал. Молодой был, глупый.

— Привирал? — уточнил Никита с пониманием, без всякой усмешки.

— Ну, с кем не бывает. Привирал по молодости лет. Впрочем, про отца все чистая правда. А вот мама...

— Ты говорил, она у тебя врачом была, физиотерапевтом, что ли?

— Надо же, какая у тебя память, старичок. Не ожидал, честно говоря. — В голосе собеседника явственно прозвучали